

Валерия Крутова

Дазайн

Рассказы

Хрустальные огурцы

Они словно разобьются сейчас. От одного взгляда лопнут, и поминай, как звали. И меня поминай. Потому что бабушка обязательно придет и спросит:

— Это кто фужеры побил? — и руки в боки, как сахарница.

И правда сахарница, — платье расписное, узорами. Кожа белая, фарфоровая, морщинами-трещинками вся пошла. Старенькая, хрупкая, тем и ценная, тем и любимая. И сладко внутри — душа сахарная.

А я отвечу:

— Это не я, бабушка. Это грузовик проехал.

И вот кто поверит? Кто поверит, что дом ходуном ходит, когда машина проезжает? Что стекла дребезжат, будто вот-вот вылетят из серванта. А внутри чашки фарфоровые с голубыми парусниками на белом фоне, фужеры в красивый ромбик. Эти ромбы словно острым волоском вырезали на толстом хрустале. И сахарница та самая стоит — расписная и в трещинах-морщинах. Руки-ручки в круглые в бока упирает. Точно бабушка.

— Ну да, и самолет пролетел, — уйдет нахмурившись, но подмигнуть успеет так быстро, словно не было ничего, и так хитро, словно поверила.

И так каждый раз: грузовики едут, я репетирую, как перед утренником в детском саду, а посуда не бьется. Хоть хватай ее и бей уже, чтобы посмотреть, поверит бабушка или нет.

— Соня! — кричит бабушка с веранды. — Беги скорее кушать.

И я бегу, забывая про посуду и ромбики хрустальные, бегу, потому что — борщ! Потому что бабушка уже разлила его по металлическим мискам. А по краю мисок, на воротнике, сколы черные. Старые миски, еще от прадедушки остались. Только я сама его не помню, бабушка рассказывала.

— Ешь, — бабушка говорит, но на меня не смотрит. Она натирает чесноком хлеб. Так вроде бы вкуснее будет.

— Вот тебе вкусно, а мне пахнет, — и нос морщу.

— Это, Соня, всегда так. Кому-то вкусно, а кому-то пахнет. Ты либо полюби, чтобы вкусно было. Либо дай людям любить спокойно то, что они любят.

— Я понимаю, — киваю и кусочек черного хлеба в борщ макаю.

Валерия Крутова (Валерия Валерьевна Макеева) родилась в 1988 году в Чимкенте (Казахстан). Участник Форумов молодых писателей «Липки». Живет в Алма-Ате.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 4.

Я вообще люблю так делать. Печенье в молоко, сухарик в варенье, бублик в кисель.

— Бабушка, а свари кисель?

— Сварю, только ты вишню собери.

И вешает мне после обеда банку на шею. Я забираюсь по лестнице. Страшно, если честно. И бабушка стоит держит лестницу, а вид делает, будто просто стоит. Смешная. А я уже на... одна, вторая, третья... На третьей сверху ступени стою и от веток отмахиваюсь. Ветки и в глаза, и в уши, и в банку лезут своими вишнями. Вот бы сами и сложили ягоды туда.

— Бабушка, полную набирать?

— Полную набирай. Побольше киселя сварим.

— Чтобы и маме, и папе еще хватило? Может, тогда и пирог сделаем?

— Чего не сделать? Давай сделаем, — и пальцем мне грозит. — И что бы я без тебя делала?

— Отдыхала бы!

Бабушка смеется, аж лестница шевелится. Вот упаду! Не до смеху ей будет!

— Вот как упаду сейчас! — кричу ей сверху.

— Это ты мне угрожаешь, что ли? — удивляется бабушка.

— Предупреждаю, — и вишню в рот отправляю. Кисло, но еще хочется. — А клубника скоро будет?

— Клубника скоро, да мало, — бабушка хмурится. Это я ей месяц назад помогала сорняки полоть и семь грядок клубники повыдергала.

Ну а кто виноват, если сорняки выглядят красивее? Бабушка сказала, что всегда так. Надо не на внешность смотреть... и показала махонькую зеленую ягодку под сморщенным, голодным без земли стеблем.

— Не плачь, Сонечка. Зато малины много в этом году будет, — а сама украдкой слезу смахнула. Я видела!

Хорошо, что с вишней так не перепутаешь.

— Давай, слезай, — слышу бабушку и слезаю. Банка полная, чего стоять?

А бабушка уже у грядки с огурцами, нарвала свежих и улыбается. Как она их держит? Колючие, в пупырышках, и листья у огурцов такие, что чешешься после них полдня.

— Бабушка, а ты знаешь, что эти твои огурцы... — я перехожу на шепот, — хрустальные!

— Не знаю, — ахает бабушка. — Ну-ка, расскажи.

— Я тебе покажу, ладно? Только ты мне соленый огурчик сделай.

— Сделаю-сделаю, только покажи, — и смеется.

Дома она режет огурец пополам, а потом ножом — наискось — сначала в одну сторону, потом в другую по мякоти, солит и трет половинки друг о дружку.

— Вот смотри, смотри! — я срываюсь с места и бегу в зал, достаю фужер из серванта, бегу обратно. — Смотри-смотри!

Спотыкаюсь и роняю фужер прямо у стола. И солнце на осколках, и ромбики ничуть не испортились, даже красивее стали. Только все равно жалко.

— Стой не двигайся, осколки соберу.

— Стой не двигайся, — кричу и хватаю самый крупный осколок. — Посмотри! Как огурцы.

И правда же. Ромбы одинаковые, капли солнца-соли на огурцах, как блики на осколках. Точь-в-точь. Бабушка садится рядом и улыбается, собирает ромбы в ладонь.

— И ладошка у тебя хрустальная теперь, — плачу я.

— Ты знаешь, почему бабушкам обязательно нужны внуки? — спрашивает бабушка.

— Нет, — всхлипываю.

— Чтобы всю-всю посуду переколотить и новую купить, — она гладит меня по голове, и солнце уже не на осколках, а на ее волосах. Оно отражается от камней в серьгах, прыгает на цепочку и скатывается к крестику.

— И сахарницу можно?

— А вот сахарницу нельзя, — она хмурится. А я понимаю, что можно. А еще понимаю, что не буду.

И грузовик хоть сколько пусть катается и дом трясет. Грузовик тоже не будет.

* * *

Я гляжу на солнце, морщусь, прячусь от него. Хотя странно прятаться от того, чего ждал целых девять месяцев. По привычке ждал. Уже ведь ни каникул, ни сна до десяти, ни киселя из вишни. Хотя почему?

— Бабушка! — звоню домой. — А кисель сваришь?

— Сварю, — улыбается в трубку. — Только ты вишню собери.

— Я куплю, — смеюсь. — А то меня от той нашей вишни сразу в опорный пункт заберут.

— И огурцов купи, будем их хрустальными делать.

Я обязательно куплю огурцов, вишни, капусты для борща. Только приготовлю сама, сразу на неделю. Чтобы бабушка не хлопотала. А пока я борщ делаю, бабушка огурцы порежет и наискось ножом по мякоти, чтобы как фужеры. Как два фужера в серванте. Остальные я давно переколотила.

Щёлк

По носу — щёлк. Чтобы не зазнавалась.

— А как это — зазнаваться? — спрашивала и за косичку голову к плечу тянула. Взгляд становился хитрый и смешной.

— Меньше знаешь — крепче спишь. О как! — отвечала и косынку поправляла. — Тьфу-ты-черт, сползает.

— А зачем ты мне тогда так говоришь? Я же любопытная, сама говорила. И косынку сними. Ты красивая без нее!

— Ишь какая. Ласковый теленок, — улыбалась. — Не сниму, милая. А ну как волосы в тесто попадут! — и погружала руки в перину. Только из настоящей перины булочки не приготовишь, а из этой — пожалуйста.

Ида уходила играть, а бабушка продолжала стряпать. И нельзя было слово «стряпать» заменить другим. Иначе не то. Иначе не запомнится.

Щёлк по носу. Чтобы не зазнавалась.

Кукла глядела на Иду и молчала. Что такое зазнаваться? Это что-то нехорошее, раз надо щёлкать по носу? Что-то опасное?

Ида на всякий случай щёлкнула по носу себя, а заодно и куклу. Ещё раз.

А потом к окошку пошла. Больше всего на свете Ида любит смотреть в окно. Однажды, давно, Ида ездила с бабушкой на поезде. Или в поезде. Ида пока не разобралась, но зато хорошо помнила. И серое постельное белье, и здоровущие сумки в проходе. Еще помнила, как плакала и за маму цеплялась. Нет, на море Ида очень хотела. Только вот в вагоне без дверей ехать боялась. А как не бояться? Одни кровати-кроватьи со всех сторон. Одни люди-люди. А вдруг плохие?

Ида потом еще упала ночью с «боковушки» и спала в проходе, пока ее не подняла продавщица яблок. Ей просто надо было срочно яблоки продать, пока поезд стоит, вот она Иду и подняла.

Ида с бабушкой три дня ехали. Три дня ехали и три дня в окно смотрели. То есть Ида смотрела, а бабушка так. Поглядывала иногда.

Ида смотрела, но совсем не успевала за тем, что происходит за окном. И только она привыкнет к быстрому лесу, только догонит его глазами, как обязательно кто-то рядом что-то спросит. Например:

— Ида, а кем ты будешь, когда вырастешь?

— Я буду в окно смотреть.

Бабушка тут крякала. Она вообще смешно крякала. А еще смешно пела. Могла без предупреждения как гаркнуть: «Выйду на улицу, гляну на село!!!» Гаркнет и ждет, когда Ида подхватит тонюсеньким голосом: «Девки гуляют, и мне весело».

И букву «о» они с бабушкой тянули, уже хохоча.

— Бабуля, ну ве-е-е-е-село же. А не весело-о-о.

— Ну да. Правильно. Только ж не в рифму. Кому такое правильно нужно, если от него никакого удовольствия?

Щёлк по носу. Чтобы не забывалась.

Ида забыла, что шла вообще-то не вспоминать, а в окно смотреть. За окном сегодня здорово. Лужи, листья желтые. Холодно. А дома тепло. И перинами, ой, булочками, пахнет.

— Ой.

Это под окном по асфальту. Прямо по лужам и направо по бордюру прошла черная кошка.

— Ой.

Еще одна. Только рыжая.

— Бабуль, а давай кошку заведем?

— Нас твоя мать прогонит вместе с кошкой! — весело прокричала бабушка из кухни.

— А как прогонит? Это же твоя квартира.

— Ну так кошка будет жить в вашей. На черта она мне тут нужна?

— А, ну да, — уже шепотом ответила Ида.

Кошки за окном пропали. Зато прошли два зонтика на ножках. Ножки серые, а зонтики фиолетовый и черный.

Ну и брали бы уже зонтики одинаковые, если все равно, как тараканы серые или черные ходят.

Хотя...

— Бабушка! А тараканы какого цвета?

— Да что ж за вопросы у тебя?! Коричневые, кажется.

— Карие? Как глаза?!

Ида подбежала к зеркалу и закричала громче, чем когда песню пела:

— Бабушка, у меня глаза цвета тараканов!

— Ой, ерундистика какая! Красивые у тебя глаза! И наглые.

— Потому что я зазнавалась?

Щёлк по носу. Смотреть в окно, не отвлекаться. Вдруг там что-нибудь волшебное случится. А Ида пропустит. А еще можно открыть окно и слушать.

Щёлк.

Щёлк.

— Бабуля!!! Смотри, скворец!

Щёлк.

— По носу? — поинтересовалась у скворца Ида. Только шепотом, чтобы бабушка не услышала.

— По носу, чтобы не зазнавалась, — тоже шепотом ответила бабушка, высунувшись из кухонного окна. Аж на целую половину себя.

Здорово! Ида смотрит на скворца из зала, а бабушка смотрит на Иду из кухни. Вот как бывает, если высунуться из окна. Хоть и не разрешают так делать, зато можно увидеть бабушку.

А скворца-то и нет уже. Улетел.

— Окно закрывай, простудишься.

Ну какой же балбес простудится, если так хорошо и свежо на улице? Если кошки за окном, зонтики и ножки под ними. А еще лужи и скамейка. Мокрая и шелушится краской.

Весной ее обязательно покрасят в какой-нибудь зеленый цвет. Не такой, как у бабушки глаза, темнее.

— Бабушка! А бывают зеленые тараканы?

— Молодые когда.

— Бабушка! А у тебя глаза тогда цвета молодых тараканов! — Ида смеется. Так громко смеется, что от окна отходит. А то вдруг стекло разобьется. Бабушка рассказывала, что можно звуком фужеры лопать.

Лопать не как есть. А как разбивать.

* * *

Щёлк.

Ида вздрогнула.

Почему кошелек закрывается таким знакомым звуком?

Щёлк.

Ида вспомнила, что так шелкал телефон. Тот телефон, который у бабушки стоял. Он мог стоять один-одинешенек. Долго стоять, без единого звончка. А потом шелкнуть.

— Идем, — Иду потянула за рукав подруга.

— Идем, — согласилась Ида.

Щёлк.

Это каблук застрял в расщелине на асфальте и лопнул. Лопнул как треснул, а не как разбился.

— Ты иди! — Ида махнула рукой в сторону бара. — Я догоню. А то дождь, гляди.

И правда, дождь. Тот дождь, который зонтики достает руками прохожих.

Щёлк.

Это парень мимо шел и фиолетовый зонтик открыл. И над девушкой понес.

Совсем мокрая, Ида достала телефон и набрала номер:

— Бабушка!!! А ты знаешь, что дождь цвета тараканов?! — закричала она в трубку.

— Да ты что, моя хорошая? Это где это такой дождь идет?

— Это у меня тут такой идет. Сзади него просто дом большой и коричневый.

Ганночка

— Тьфу ты, девочка, — воробей стреляный. Глаза зеленющие, зыркают туда-сюда, ищут, чего бы натворить, чем бы о себе память оставить.

— Не ворчи на девку, дед. Ступай в комнату. На вот, тебе газету.

На вот, тебе газету. На вот, тебе газету.

Так и остались в памяти слова. А за словами шаги деда — тяжелые. Если зеленющие глаза закрыть, и не скажешь, что дед старый и немощный. Что глаза его не видят почти, а руки даже ту газету не держат. Он ступает в комнату медленно, но уверенно. Видно, что каждый шаг с трудом дается, но дается. Дед доходит до кресла, садится, напрягаясь всем телом, не кряхтит, не хрипит. А если тяжело или больно, он на Галю ворчит.

На вот, тебе газету.

Галя пробежалась зеленющими глазами по заголовкам на первой полосе, вдохнула и отшвырнула газету в сторону.

— Память народа, бессмертный полк, подвиг народа — растиражировали подвиг,

девальвировали память, — она убрала несуществующую челку с лица и хрустнула шеей.

— Ну что ты в самом деле? Люди... ну... как могут.

— Слав, да не могут! Вот почему трафик на эти сайты увеличивается за неделю до девятого мая? И газеты за неделю начинают писать статью и победе, о ветеранах там, волонтеры мотаются, кульки с макаронами возят. Потом девятое мая, и снова как отрезало. Ти-ши-на! Нет никакой памяти.

— Ну... хотя бы так, — Слава вышел из подсобки. Секунды через четыре звякнул входной колокольчик. С глухим стуком закрылась дверь — Слава ушел.

— Рабочий день из оувер. Гуд бай.

Галя тоже вышла из подсобки и закрыла входную дверь на ключ. Огляделась: попугаи уткнулись клювами в разноцветные тельца, крысы, хомяки расплзлись по «пещеркам», только рыбы в подсвеченных аквариумах беззвучно рисовали в воде изломанные линии. Изломанные пути. Изломанными судьбами.

Бросили их на растерзание ожиданию — купят не купят.

Галя подошла к отдельно стоящему аквариуму в форме фужера. Внутри в абсолютном одиночестве плавала рыбка.

— Ганночка, — шепнула Галя, прислонившись носом к аквариуму. Рыбка подплыла поближе и завертелась. — Есть хочешь, да?

Золотая рыбка — Галя мечтала о ней вплоть до открытия своего мини-зоомагазина. В глубоком детстве, когда еще были живы прадед и бабушка — его дочь — Галя увидела на рисунке рыбку с пышным хвостом и плавником, похожим на бальное платье. Рядом с рыбкой на рисунке постоянно кто-то околачивался: то дед бородатый, то корыто, то бабка страшная. Старики, совсем не похожие на ее, Галиных стариков. А рыбка ей снилась каждый день. Старики не снились — ни свои, ни чужие, а она снилась.

Потом Галю отдали в детдом. Вот и все воспоминание: прадед, сильный и ворчащий, но добрый. С газетой. Бабушка, убирающая со стола. И рыбка.

И Ганночка.

— Ганночка, упокой Господи твою душу. Свидимся скоро уже. Свидимся скоро, — каждую ночь перед сном шептала бабушка.

Наверное, стала бы Галя постарше, спросила бы, кто такая Ганночка. Только бабушка умерла, буквально через неделю после смерти прадеда, а Галю забрали службы опеки.

Вот и вся память.

— Память народа... Слышишь, Ганночка? Не у всего народа есть эта память. У кого-то вон только рыбка из книжки да газета в дедовых трясущихся руках. Несправедливо.

Домой не хотелось, поэтому Галя решила остаться в магазине. Поставила входную дверь на охрану, достала колбасу из холодильника, хлеб, масло, бутылку пива. Оглядела продукты, вздохнула, вернула на полку масло, хлеб, открыла пиво и хлебнула прямо из бутылки. Второй рукой взяла палку салями и откусила.

— Отличный ужин, Ганночка, а? — она подошла к аквариуму и легонько стукнула бутылкой о его край. Рыбка даже не обратила внимания на звон, привыкла уже.

Галя еще несколько раз с удовольствием укусила колбасу, аккуратно завернула в бумагу и положила в холодильник, достала сыр, также не отрезая цапнула уже укушенный уголок и вернула на место. Она подняла газету, недавно отброшенную, и вытерла жирную от колбасы руку о первую страницу, содрала разворот, скомкала и выбросила в урну. Телевизор смотреть не хотелось, Галя снова прошлась по магазину, взяла аквариум с Ганночкой и унесла в подсобку, поставила, села рядом, выпила пива, встала, снова прошлась по магазину. Села. Выпила пиво. Встала. Направилась в сторону двери из подсобки и остановилась, закрыла глаза.

— Ганночка, как ты чувствуешь себя в аквариуме? Ну как вот — от стены к стене. От стены к стене. И пива у тебя нет... Ладно. Буду читать тебе вслух.

Галя взяла в руку газету. На оставшемся развороте было окончание статьи с той, выброшенной, части и большое фото с прошлогоднего Бессмертного полка.

— Без толку читать, все равно начала нет. Зато людей вон как много, — Галя приблизила к глазам фотографию и начала рассматривать таблички с именами участников войны. — Ефре... наверное, -мов, имени нет, чья-то голова прикрыла. А здесь наоборот, имя — Фёдор Тихомирович. Фамилию не видно.

Галя достала вторую бутылку пива, звякнула ею об аквариум и выпила.

— Шабалин. Михаил. Я... Наверное, Яковлевич или Ярославович. Кораваев Игорь... Как же их даже на картинке много, смотри, — она прислонила к аквариуму фото, рыбка подплыла и легонько стукнулась о стекло в том месте, заюлила, изящно виляя золотистым хвостом. — Красивая ты у меня. Ганноч... Дмитрий Иванович.

Галя вздрогнула. Положила газету и разгладила изображение.

— Слушай, ну так и есть — Ганноч... — окончание фамилии было закрыто чьей-то головой. — Никогда бы не подумала, что это фамилия.

Галя достала ноутбук и открыла самый популярный в преддверии Дня Победы сайт.

— Ганночка, сейчас поищем нашего Ганночку, — она вбила фамилию в поисковую строку. — Жесть, как их много — десять страниц.

Она решила открывать каждого. Не Новый год, конечно, для чудес, но вдруг как-то окажется, что это тот самый бабушкин Ганночка. Муж? Парень? Отец бабушкиной дочки, которая «разродилась Галей и померла, а отца неизвестно где нагуляла». Это все со слов какой-то странной бабки из деревни Озерки, куда Галя приехала, когда ей исполнилось восемнадцать лет. Ничего от дома не осталось, чего наследовать? Кусок дороги и траву? Муниципалитет выкупил территорию, где стоял дом ее родных, а деньги — копейки сушие — ей выдали после того, как выпустили из детдома. Квартира общажного типа на окраине и деньги на счету. Небольшие, да и ладно. Галя сумела ими разумно распорядиться.

А та бабка ничего и не знала, сама была младше значительно; что помнила из рассказов, то и выдала. И молоком напоила.

В документах ни у Гали, ни у ее матери в графе «Отец» никого не значилось.

Но почему бы Ганночке не оказаться ее дедом?

— Да? Ганночка? Не зря же ты мне скрашивала одинокие вечера. Не зря я о тебе думала все детство.

Рыбка рисовала изломанные линии внутри аквариума. Галя искала.

Она открывала каждого Ганночку и смотрела документы. У кого-то их и не было — «Рядовой службы запаса. Выбыл в 399». У кого-то стояла отметка красным: «убит», «попал в плен», «захоронение». У кого-то был документ, у кого-то голая отписка.

Ганночка, Ганночка, Ганночка. Десяток разных людей под одной фамилией — они остались вечными зарубками в кавычках памяти народа. А теперь еще и в памяти Гали.

«Умер от ран».

«Пропал без вести».

«Попал в плен. Освобожден». И он же ниже: «Убит».

Галя читала сведения о личном составе: донесения о потерях. У некоторых Ганночек значились родственники. Галя внимательно просматривала. Еще и еще. Живых не открывала. По словам бабушки «Господь упокоил душу Ганночки». По крайней мере, бабушка на это надеялась.

«Убит».

«Умер от ран».

«Ранен». Он же позже: «Убит».

«Пропал без вести».

«Попал в плен» — Галя снова перечитала донесение о потерях. «Младший лейтенант Ганночка Григорий Ефимович — пилот 197 авиаполка. Убит в 1943 г. Жена: Ехонина Вера Константиновна».

— Бабушка... — прошептала Галя. — Я нашла дедушку...

Галя выпила пива, закрыла глаза и вытянулась на диване во весь рост. Слишком часто в голове у нее не оставалось мыслей от усталости ли, от раздражения на неприятных клиентов, от страха за собственное дельце, от неизвестности перед будущим, которую она от себя гнала, как и мысли о парне или даже муже. Только сейчас мыслей в голове не осталось совсем не так. А так, как будто они есть, и они только готовятся прийти к ней, ударить обухом по спине, выпрямить ее, заставить что-то делать, объяснить ей, зачем это «что-то» надо обязательно делать. Гале не хотелось сейчас ходить, как она всегда ходила в минуты волнения или от нечего делать в одиночестве. Гале не хотелось кусать еду, как она всегда делала в минуты волнения. Гале хотелось лежать и улыбаться. Представлять свою, то есть своего Ганночку, к которому каждую ночь обращалась словами и мыслями бабушка. Хотелось тоже обращаться к ним, чего сама Галя не делала никогда.

Никогда до сего дня она не обращалась словами или мыслями к своим, хоть и совершенно почти забытым, но все-таки существующим родственникам.

А сейчас захотелось.

— Ганночка, — Галя села на диване и протерла глаза. — Ганночка. Я куплю тебе пару. Что ты у меня, как дурочка, одна-одинешенька?

Дазайн

Мне страшно встречаться глазами с людьми. Мне странно. Чаще всего это касается незнакомцев. Кажется, что встретившись с ними взглядом, я сразу же перехожу в разряд их доверенных лиц. Кажется, что теперь мы связаны. Повязаны нитью взгляда. А взгляд... Он бывает сильнее рукопожатия, даже обручального кольца сильнее.

Если оглядеться, можно сойти с ума от количества этих нитей. От количества этих бесстрашных взглядов. Взглядов в чужую историю. Нити похожи на бесконечные, пересекающиеся струны, на которых любой сможет сыграть мелодию города, жители которого намертво и навсегда связаны. Мелодию мира, граждане которого всегда друг другу чем-то обязаны.

Супруги, живущие бок о бок лет сорок, настолько укутаны многочисленными слоями из нитей, что перестают дышать в своей связи, перестают видеть и слышать не то что друг друга, а даже самих себя. Их дети, особенно младшие, постепенно лишаются нитей, ведь глаз родительских из-за толстой их междусобойной связи — не видно. А глас — слышно. Глас тревоги и паники. Так, может быть, не смотреть мужу в глаза, когда я выйду замуж? Если.

Сегодня я шла с работы и нечаянно, совершенно неожиданно для себя, глянула в глаза девушке, идущей мне наперерез. Глянула смело, не отвела взгляд через мгновение. Мы создали и укрепили нить до размеров веревки, мы смотрели друг другу в глаза до тех пор, пока уровень оборота головы не перестал быть приличным. За эти секунды я узнала ее историю, и теперь мне придется с этим жить. Жить с девушкой с абсолютно сухими глазами. Но преисполненными такой боли, что ни одна слеза не показала бы это явственнее. Да, сухие глаза страшнее. И черт бы меня побрал посмотреть в них.

Ильмира ими плакала когда-то. Когда она еще умела жить. Сейчас она умеет только падать, поэтому отчаянно цепляется взглядом-нитью за любого, кто на нее посмотрит. Так она существует. По крайней мере, в это верит.

«Ты — пустое место», — говорил ей отец.

«Ты — никто. И звать тебя — никак», — говорила бабушка.

А мама... Мама была таким же никем, как и Ильмира. Мама, опустив глаза, мыла полы, готовила пищу богам и не знала секрета существования.

Девочку нарекли честной, добросовестной, по некоторым источникам ее имя обозначалось как «принцесса». Тогда почему бабушка называла ее брехушкой и растяпой? Почему звала ее не иначе, как безродная? Наверное потому, что сын, вопреки ее воле, женился на матери Ильмиры и удочерил саму девочку. Девочке было два года. А уже в пять она стала пустым местом. Даже для собственной матери.

Когда Ильмире исполнилось семь, у бабушки был сердечный приступ. Не случился, а именно был. Долго и мучительно. Было смотреть на бабушку. На то, как она хватается за сердце, падает мимо дивана, буквально в двух от него шагах. Потом она хватается за горло, живот, плечи, ладони трясутся, а глаза — два испещренных капиллярами яблока — пытаются поймать взгляд Ильмиры. Ильмиры, которая не ловится взглядом, а значит не существует. Потом бабушку рвет. Она, чтобы не захлебнуться, поворачивает голову набок. Тромб. А Ильмиры не существует, а значит не существует и телефона, стоящего на кухне. Могущего помочь. Не существует окна, которое смотрит на окно соседнего дома. Дома, где живет сельский врач. Не существует нити-взгляда, нити-крика.

Она — пустое место. Она — никто, и звать ее — никак.

Ильмиру, сидящую рядом с мертвой бабушкой, нашла мама.

— Бисмиллях, — прошептала она и, не поднимая взгляда, взяла на руки дочь. Ильмира укутала лицо мамой и заплакала.

Заплакала, потому что так легко оказалось не страдать, так легко оказалось существовать — просто нужно, чтобы кто-нибудь умер. Тогда мама перестанет смотреть в пол и возьмет Ильмиру на руки.

Когда Ильмире стало восемь, она отвела младшего брата на реку. Он был непослушным, юрким и совершенно не хотел входить вводу. Мама нашла ее вечером одну, сидящую на траве у реки. Ильмира изо всех сил старалась зацепить нить за горизонт, чтобы хоть как-то проявить свое существование в том моменте, но для горизонта Ильмира не существовала. Как и для матери больше не существовала. Девочка слышала этот вой и через год, и через десять лет. И даже сейчас, когда я встретила с ней взглядом, она слушала мамин вой. Но больше не плакала.

«Смерть не работает», — поняла Ильмира.

И поняла неправильно, ведь смерть работает, но только не так.

Отец тогда впервые избил их с матерью. Ильмиру — за то, что не уследила за братом. А мать — за то, что родила такую непутевую дочь. Чужую дочь.

С тех пор побои отца стали настолько частыми, что Ильмира забыла, каково это — есть суп без подзатыльника за чавканье, собираться в школу без толчка за выбившуюся из косы прядку, убираться без тряпки в лицо за пыль под телевизором. Ильмира спокойно засыпала, только оставшись дома в одиночестве, а значит, практически, никогда. Ее мучили кошмары, ее пугали люди. И чтобы не существовать, она опустила глаза в пол.

Каждая жалоба на Ильмиру — от преподавателей на успеваемость, от соседей на невежливость — отзывалась пощечинами, прутьями и ремнем. У отца (отца ли?) был лишь один ремень, доставшийся от деда. Армейский ремень, которым отец так гордился. Так гордился, что именно на ремень однажды вылилась вся злость Ильмиры. Она взяла топор во дворе и разрубила ремень на куски. Выложила его на полу у самого входа, села рядом и уставилась на дверь. Она не мигая смотрела в то место, где через пару часов должна появится голова отца. Она представляла, как изменится его уставшее лицо, как отец обретет силу, как злость вдохнет в него жизнь. Как ненависть заставит его чувствовать себя молодым.

Ильмире было пятнадцать, а армейскому ремню на пятьдесят лет больше. На табуретке у входа Ильмира положила топор. Она была уверена, что отец схватится за него. Хоть Ильмира уже не верила в силу смерти, она знала, что мама станет свободной. Не счастливой, но и не битой.

Я закрыла глаза, пытаюсь выключить и девушку, и ее жизнь, и то, что произойдет

дальше. Я закрыла свою фантазию, но тонкой нитью тянулось расстояние. Тянулось время, разрывая между нами воздух, землю. Разрывая крупными кусками мир. Мы — из разных миров. Но с одной нитью. И что теперь с ней делать, я не знаю. И знать не хочу.

Для меня — она никто. И звать ее — никак.

Я не люблю смотреть людям в глаза, мне кажется, что после этого наши истории будут связаны, мне кажется, что теперь мы в одном мире.

И мне не кажется, что теперь мы обе существуем.

Людно

На кладбище людно сегодня. Но тихо. Наверное потому, что из всех присутствующих только я могу принять вертикальное положение и даже издать ряд осознанных звуков. Другой вопрос в том, что делать этого мне совершенно не хочется. Последние недели мое существование напоминает акт согласованной детонации — планирование, техническая подготовка, нажатие на кнопку, и вот: я резко встаю с кровати, боясь хоть на секунду замедлиться. Мне нужно постоянно взрываться, чтобы не передумать. Не передумать жить.

Кладбище закрыли на карантин, и мне вдруг срочно понадобилось явиться сюда. Бог знает зачем и почему именно сейчас, почему вот так, через щель в заборе, почему с целым пакетом бутербродов и двухлитровым термосом с чаем. Чай — дивный, знаешь. Мне на старой работе принесли засушенную душицу. Она стояла в вазе на кухне полгода, а однажды я отломил веточку и растерла в ладонях. Целую вечность, кажется, я стояла и нюхала свои руки. А следующую вечность я пила чай. И никогда ранее не было ничего вкуснее.

А бутерброды — обычные. Масло, колбаса, сыр. Ну, сыр не обычный, фермерский, который даже как-то совестно есть вприкуску с совершенно простым хлебом и фабричной колбасой из обрезков и бумаги, как любила шутить бабушка. Ты помнишь ее? Она бы меня отругала, что я явилась сюда только сейчас. И не удивляйся. Да, она тебя не любила, но «могилка-то не виновата» сказала бы она. И добавила бы, что разговаривать все равно не нужно, пришел, подмел, траву вырвал и убрался восвосяи. Вот только разговаривать-то приходится. Будто кто-то силком из тебя слова вырывает и во фразы складывает. Кто-то словно ест твои откровения, жадно запикивая их в ненасытную пасть.

Ты удивишься, если я скажу, что мне интересно на кладбищах? Интересно и стыдно. Не потому, что «они» — лежат, а я — иду. Мне стыдно, что я могу пройти мимо и не заметить чей-то выжидающий взгляд с фотографии, не прочитать чье-то имя. Будто бы это какой-то знак вежливости, правило приличия. Поэтому я стараюсь прочитать все имена и рассмотреть фотографии на могилах, мимо которых иду.

Вот только...

Я долго отводила взгляд от твоего фото.

Со «стыдно» разобрались. А почему мне интересно на кладбище? Это такое странное состояние сопричастности. Словно меня пустили в чьи-то жизни после смерти. Когда мы идем мимо человека в магазине, на нем не указан год рождения, не написано послание любящих родителей — что-то вроде: «В мае рожденный, будешь самым счастливым на свете. Твои мама и папа». Здесь же — один взгляд, и ты знаешь о человеке пару конкретных фактов, а остальное можно нарастить в мыслях. О каждом из присутствующих здесь.

Кроме тебя.

Потому что наращивая твою историю, я начинаю анализировать свою, нахожу взаимосвязь, первопричины, результаты. Я злюсь, хочу наговорить гадостей. Потом

наговорить их себе, потому что не успела сказать все это раньше. Чтоб ты знал. Чтобы ты знал! Как я обижена...

Я слишком много о тебе знаю и слишком многого — нет. Удивительно, но мне даже неинтересно. Как-то мы обсуждали с подругой приятие близкого человека, не обязательно родственника. Получается, что «кровь не вода» — утверждение верное, но используемое совершенно в искаженном контексте.

Это вода! Вода — жизнь. Вода нас объединяет и связывает. А кровь — твоя, например, ничегошеньки для меня не значит. Она никак не влияет и не влияла раньше на мою жизнь.

Ну ладно. Всё это так... Прелюдия. Сейчас я съем бутерброд и запью чаем с душицей. Я, правда, не знаю, прилично ли есть-пить на кладбище или это считается дурным тоном? Или даже карается какими-нибудь мистическими последствиями?

Ну вот. Я смеюсь вслух. А говорю громче.

Я люблю мистику, в ней можно спрятать свою сухонькую душонку. Скажи в обществе, что ты оставляешь на ночь молоко с печенькой для домового — всё. Ты сразу становишься трогательным и милым — не от мира сего для скептиков и своим — для единомышленников. Едино-лже-мышленников.

Я не рассказывала тебе свою любимую историю — я позаимствовала ее у кого-то, честно признаюсь. Но так как я только притворяюсь, что верю в привидения, то будем считать, что я позаимствовала не личную историю, а... например, сказку про Колобка.

Поскребла я как-то по сусекам и испекла колобок... ладно, шучу. В общем, пришли мы как-то со старшей сестрой в гости к ее подружке. А подружка та, как требуется для страшной истории, жила в новостройке, стоящей прямехонько на старом кладбище. На костях. В гости на кости мы пришли. И тут, бац, свет выключают. Ну ты понимаешь. Квартира большая и так, а в темноте становится еще больше. У страха не только глаза, но и квадратные метры велики. Так вот, попросила я сестру отвести меня в туалет. Сестра впереди, я позади. И тут она как вкопанная встает в дверном проеме, не двигаясь, не дышит даже, кажется. Мне ни слева, ни справа не заглянуть, но любопытно же! Я юбку ей приподнимаю и на корточках, держа сестру за колени, смотрю вперед.

Что-то белое, мерцающее мягко, извивается под стулом и наполняет меня изнутри тревогой. Не страхом. Страх весь съела сестра, она старше и понимает, что происходит. А я маленькая — мне страшно лишь оттого, что света нет. Но как-то не по себе от мерцания под стулом. И тут вдруг подол юбки, который я удерживаю затылком, накрывает меня, словно саваном, словно прячет меня от тревоги, я остаюсь под юбкой у сестры и крепко держу ее за колени, чтобы она не улетела от страха на седьмое небо, где детки божьей коровки кушают конфетки.

А потом свет дали. И он зажегся прямо в той комнате с мерцанием под стулом. Хотя, как рассказывал настоящий очевидец этой истории, в комнате не был включен свет изначально. Тот свет с того света.

Смотри-ка, как тихо стало. Все прислушались. Странно рассказывать на кладбище о привидениях. Но еще страннее рассказывать на кладбище о жизни.

Жизнь моя в порядке. Пусть и в странном, но уж получше, чем у тебя. Прости. Просто.

Просто усталость какая-то, тоска. И я помню, как ты мне говорил тогда в туалете старой общаги, глядя в окно и вкручивая бычок в банку из-под шпрот, что тоска тебя одолевает, словно жизнь не так живется, воздух не с той стороны вдыхается, еда даже естся не так, как хотелось бы и должно было быть. А я почти не слушала и думала, что банку из-под шпрот стоило бы помыть, прежде чем превращать ее в пепельницу для туалета. Для помещения, в котором и без этой банки ароматы не слишком приятны.

Интересно, прошло ли это у тебя? Дышалось ли как надо в последние годы? Или ты так и ушел в тоске?

У тебя тут соседка — Илона. Красивое имя, богатое такое. У нас в лагере была

девочка Илона, которую я почему-то боялась. У нее была обалденно красивая грудь — соски торчали немного кверху, словно два любопытных носика. Она не носила лифчик и целовалась с самыми красивыми мальчиками в отряде. Не со всеми разом, а по очереди. Я тогда была толстой и влюбленной в одного из них. Ну куда мне было тягаться с любопытными, жадными и такими восхитительными носиками?

Теперь имя Илона у меня ассоциируется только с красивой грудью. Если встретится Илона — Илонища в бабьем лифчике на широких лямках, я не поверю, что ее по-настоящему так зовут.

А с тобой у меня таких воспоминаний нет. Представляешь, ни одной ассоциации, ни одной вспышки. Когда ты ушел, я сидела на ковре и думала — тогда еще мало что соображала, но пыталась осмыслить происходящее, понять, что будет дальше.

До сих пор не вышло.

Вообще, знаешь, не грусти, что умер. Если ты, конечно, грустишь. В этом году ты бы так и так ушел, только в гораздо большей суматохе. Эта пара лет жизни роли бы особой уже не сыграла. Хотя мне легко говорить отсюда. При этом мне совершенно не легко говорить. Я теряюсь в общении, забываю слова, становлюсь косноязычной и недалекой. Честное слово! Мне рассказывали, какой ты был краснобай, так что мы не похожи.

Краснобай и анархист. Я бы сказала, местечковый анархист. Сейчас таких много. У них нет сил и духа противостоять тому, что они не знают или не понимают, нет желания исправить это. Но бросить, как они называют, «вызов системе» хочется. И начинается — езда по встречной полосе, демонстративный отказ от тех же масок сейчас, окурки не в урну, а рядом, плевок на асфальт. Иногда их «вызов» переходит и на детей. Тогда они перестают их лечить, кормить мясом и сознательно изолируют от общества. Да, у нас бы с тобой точно ничего не вышло. Я не анархист.

Тем более, не местечковый.

Мне всегда говорили, что я выбираю не тех мужчин. А потом добавляли с понимающим таким, снисходительным тоном: «Поня-атно, ты же без отца росла». За вот это повальное и поверхностное увлечение психологией я бы сажала людей. Так в книжках пишут: если без отца, значит ищет отца в мужчинах. А мужчина, согласно новейшей психологии, отцом своей женщине быть не хочет. Я сейчас даже не верю, что говорю это вслух. Что вообще запомнила этот бред, который начисто лишает смысла такой сложный механизм, как психика.

Все просто. Тебя ударили, ты бьешь. Тебя бросили, ты бросаешь. Наверное, так бы действительно было легче.

Но.

Мы не ищем легких путей, правда?

Вот ты не искал, когда уезжал, все бросив. Не оглядывался, не думал ни секунды, что совершаешь ошибку. А вдруг все сложилось бы иначе, останься ты здесь. Рядом.

Я часто думаю о том, что было бы, останься я... Где угодно — в прошлых отношениях, в родном городе, даже в школе, в которой училась до третьего класса. Как протекала бы моя жизнь, если бы я осталась там.

Влюбилась бы в одноклассника и родила ему двойню в девятнадцать лет? Или поступила куда-нибудь за рубеж, ведь в той школе это было обычным явлением. Много-много альтернативных историй, до которых вроде бы рукой подать, но не добраться. Как до могил вокруг.

Как до тебя.

Знаешь, почему я ушла от бывшего мужа? Я была младше его на восемнадцать лет. Да-да, не смейся и не криви нос. Муж был прекрасен, любим и богат. Я была молода и, видимо, напоминала ему дочь. Сейчас «мамкины психологи» набегут и расскажут мне про синдром безотцовщины. А нет, не набегут — я ж на кладбище. Так вот, мы тогда уже жили вместе пару лет, а узаконить отношения никак не выходило. Угадай, почему? Потому что «а зачем, и так ведь здорово».

Однажды перед поездкой в Грузию его близкий друг со смехом сказал: «Как раз в той церкви и обвенчаешься!»

Мы ехали в церковь третьего века в Кутаиси. А бывший мой ответил: «Да ну ты брось. Еще грех на душу брать». И расхохотался.

Тишина в комнате повисла примерно такая же, как здесь, при том что людно было тоже, как здесь.

«Пьяный просто», — подумала я. И забыла.

Нет, не забыла.

Уже там, в Грузии, в старом деревенском доме, в котором даже и намека нет на удобства в виде туалета и ванной, одной темной ночью я, пардон, звонко журчала в пластиковый голубой горшок и думала, что никакая это не любовь. Никакая не страсть. Ведь какой муж скажет: «Я не поведу тебя в туалет через темный двор, писай в горшок»? Только ненастоящий муж скажет, который грех на душу не хочет брать. Второй грех. Первый уже взял, когда меня в койку уложил.

И ему не претит слушать мой звонкий грохот по горшку, потому что я для него как дочь.

И сидела я той грузинской ночью на горшке и плакала. Грех оплакивала обоюдный.

По приезде мы расстались.

До сих пор думаю, а что если бы меня тогда, на горшке, не озарило бы? Через сколько месяцев мы бы расстались?

Не знаю, я когда девчонкам про этот горшок рассказывала, смеялись. А тебе рассказываю — плакать хочется.

Тогда же, кстати, пьяная заявила ему, что, если не женится на мне, я за грузина замуж пойду. Они, мол, достойные... Ага, и доступные. Ребята. Женщин своих уважают. Может, все-таки поехать? Как думаешь?

Смотри-ка, зашелестело все вокруг. То ли ветер, то ли люди против.

Люди всегда против, это их законное право и ответственная работа — они против. Они выступают. Они митингуют. Они отрицают. И неважно ведь по факту, против чего, важно, что против. Это сейчас называется активная жизненная позиция.

А я вот считаю, что нужно быть против животного в самом себе. Ну, вот ты был бы против, может, и живой был бы. Не пил. Бы.

Я тебя трезвым мало помню, оттого и печалюсь каждый раз, когда мужчин в подпитии вижу. И сама стараюсь не пить именно поэтому.

Видишь, все-таки повлиял на меня. И хорошо повлиял, что бы там бабушка ни говорила.

Она так и не узнала, что ты умер. А ты так и не узнал, что буквально через год после твоей смерти и она уйдет.

Один совершенно любимый и совершенный мой человек. И ты — нелюбимый, непонятый, обидевший и отвернувшийся от себя, но родной. Какие странные и страшные впечатления от обеих ваших смертей. Печаль и безразличие. Какой большой разрыв между вами.

Между нами тоже.

Я когда еще сюда шла, репетировала. Как приду, как поздороваюсь, как съем все бутерброды, пока тебе рассказываю о жизни. А что вышло? Пришла, ни здарсьте тебе, ни о жизни. Так, кусками что-то выдала, но бутеры ответственно съела. То ли от волнения, то ли чтобы рот занять.

Хотя все равно так много и долго я давно не говорила. У меня, знаешь, пап, в жизни — как на этом кладбище. Людно, но тихо.

Лида

Нет никого менее приспособленного к родам, чем женщина. Она рвется до анального отверстия, истекает кровью, теряет контроль и извергает из себя фекалии у всех на виду. Она кричит и обрушивает проклятия на всех, кто находится рядом. Она бьется в агонии и зажимает мышцы таза так, что способна изуродовать свое долгожданное дитя. В те секунды, когда боль ослабевает, она ломается, мякнет, ее сознание брезжит на горизонте, подмигивает, чтобы через мгновение снова исчезнуть, оставляя женщину наедине со своим предназначением.

И нет никого сильнее в эти мгновения только потому, что женщина не теряет надежды выжить и дать жизнь. И нет никого слабее в эти мгновения только потому, что женщина наполнена страхом и чужими советами.

Если бы Ольга Давыдова знала, что ей предстоит пережить, наверняка бы отказалась от счастья быть матерью Лиды, похожей на подвядшую картофелину, звучащую оглушительным нечеловеческим писком. Лида родилась двенадцатого июня в полдень. Пока Ольга корчилась, испуская из себя то ли последний дух, то ли первенца, солнце медленно запекало в старой копейке ее мужа — Савелия. На парковке у роддома места не нашлось, в тени деревьев на обочине тоже. Поэтому Савелий примостился у магазина в конце улицы, забравшись передними колесами прямо на тротуар. Прохожие, которым приходилось либо обходить копейку по проезжей части, либо шаркать боками серую стену магазина, оставляли на Савелии свои недобрые презрительные взгляды.

Зачем, спрашивается, этот будущий папаша просиживал время, которое можно было провести дома, тщательно вычищая углы их однокомнатной квартиры от пыли или, на худой конец, обмывать с коллегами по гаражному кооперативу свое орущее счастье и растянутую во все стороны жену. Обмывать впрок. Но Савелий сидел, почти не двигаясь, лишь изредка включая телефон, чтобы проверить точно ли он работает.

За восемнадцать часов он пару раз приложился к бутылке с нагретой солнцем водой и единожды окропил влагой угол за магазином, выбрав момент поспокойнее, чтобы никому не попасться на глаза за столь поганым делом. Савелия еще мама учила до дома терпеть. Будучи мальчиком, он ни один кустик, ни один камушек на улице не обмочил. Мама всегда носила с собой бутылочку или дорожный горшок. Став старше, Савелий ни в школе не мог нормально расслабиться и на переменах бежал домой, благо дом был в ста метрах; ни в офисе — абсолютно все он нес домой, не забывая попутно поминать маменьку недобрым словом.

А тут, вон как, не смог покинуть добровольно выбранный пост и наконец-то расслабился, даже не в общественном туалете, а посреди людной улицы, недалеко от роддома номер пятьдесят два. Уже в машине, утирая пот со лба, он подумал, что можно было воспользоваться бутылкой.

Первое сообщение: «Родила», — он получил, спустя восемнадцать часов. Второе: «Перевели в палату. Все хорошо» — спустя двадцать один час. И в тот же час он завел копейку и уехал домой. Осторожно, не рискуя набрать скорость, чтобы в случае чего моментально вернуться к роддому.

Но путь домой прошел благополучно. Сообщений не было, Савелий переоделся, сходил в душ, поставил чайник и принялся за уборку. Телефон он предусмотрительно держал на виду. Не дай бог что.

«Не дай бог что» случилось пять лет назад, когда Савелий отвез рожающую жену — тогда Ирину — в роддом, а сам с друзьями сутки пил в гараже. Проспавшись, он нашел телефон, поставил его на зарядку и включил. За это время его старенький гаджет превратился в дрожащее от боли, злы и нетерпения адское пламя адской же новости — сын умер в родах. И все это время содрогающаяся от горя жена пыталась

дозвониться до Савелия. Его тогда било током от каждого пропущенного звонка. Как не убило вообще?

Через три дня, в вечерних сумерках, в полнейшей тишине, словно ворье, они вышли с Ириной из роддома со справкой о смерти и поехали в ЗАГС за справкой о разводе. Ирина настояла. Она так и не смогла простить мужу сутки тишины и безответного равнодушия. Пока она содрогалась от горя в одиночной палате и безуспешно пыталась дозвониться до Савелия, он праздновал рождение малыша. Рождение мертвого сына. Она так и не смогла. Не смогла простить его за свою хорошую и слишком живую фантазию. Она описывала все, что происходило в те его пьяные сутки в красках — она словно там и сама была. Там, в гараже посреди похмельного смрада, смачно сдобренного килькой в томате. Она была там, но никак не в родзале среди посеревших от необратимости врачей, пытавшихся спасти жизнь ребенка.

Савелий еще раз проверил телефон — тишина. Он отправил Ольге сердечко и сфотографировал тщательно вымытый зал — «готовлюсь, девочки». Получил: «а мы спим» и следом нечеткое фото младенца, страшненького, сморщенного, похожего на старого бурята в хлопчатобумажном чепчике.

«Красивая», — ответил Савелий.

«На тебя похожа».

Савелий рассмеялся. Его отпустило. Он вдруг заметил, что грудь вмещает намного больше воздуха. Буквально, в половину больше. Заметил, что дома пахнет хлоркой, и надо бы проветрить хорошенько. Заметил, что Ольга успела выгладить все детские вещи, а положить их в новый комод — не успела. Заметил, что второпях оставили медкарту в коридоре — и как это врачи не потребовали? И вспомнил. Вспомнил, как в копейке плавился двадцать один час. Как опорожнялся за углом — впервые в жизни не дома. Как пил противную теплую воду и взгляды прохожих вспомнил. Он их так и не стряхнул с себя, даже душем не получилось смыть. Они прилипли и были не такими уж и презрительными, они тоже узнали. Узнали, что у Савелия дочка Лида родилась. Она страшненькая и пока что не похожа на тех детей, что вытаптывают ножками площадки у дома. Прохожие узнали, и взгляды их стали снисходительными. Что с него, с папаши, взять? Переживает.

Да нет. Папаша не переживает. Он уже пережил... И можно, наконец, украсить копейку наивной и пошлой надписью: «Спасибо за дочку».

— Извините, а наклеек с именем Лида у вас нет?